

Икс, Евгений Замятин

В спектре этого рассказа основные линии – золотая, красная и лиловая, так как город полон куполов, революции и сирени. Революция и сирень – в полном цвету, откуда с известной степенью достоверности можно сделать вывод, что год 1919-й, а месяц май.

Это майское утро начинается с того, что на углу Блинной и Розы Люксембург появляется процессия – по-видимому, религиозная: восемь духовных особ, хорошо известных всему городу. Но духовные особы размахивают не кадилами, а метлами, что переносит все действия из плана религии в план революции: это – просто нетрудовой элемент, отбывающий трудовую повинность на пользу народа. Вместо молитв, золотая, вздымаются к небу облака пыли, народ на тротуарах чихает, кашляет и торопится сквозь пыль. Еще только начало десятого, служба – в десять, но сегодня почему-то все вылетели спозаранок и гудят, как пчелы перед роением.

В тот день (1919, 20/V) все граждане в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, за исключением самых нераскаянных буржуев, состояли на службе, и всех от восемнадцати до пятидесяти явно ждало сегодня что-то необычайное во всевозможных УЭПО, УЭКО, УОНО. Главное, что это было «что-то», что это был икс, а природа человеческая такова, что ее влекут именно иксы (этим прекрасно пользуются в алгебре и в рассказах). В данном случае икс произошел от раскаявшегося дьякона Индикоплева.

Дьякон Индикоплев, публично покаявшийся, что он в течение десяти лет обманывал народ, естественно пользовался теперь доверием и народа и власти. Иногда случалось даже, что он ловил рыбу с товарищем Стерлиговым из УИКа – так было, например, вчера вечером. Оба глядели на поплавки, на золото-красно-лиловую воду и беседовали о голавлях, о вождях революции, о свекольной патоке, о сбежавшем эсере Перепечко, об акулах империализма. Здесь – совершенно некстати – дьякон заметил, конфузливо прикрывшись ладонью:

– А у вас, товарищ Стерлигов, извиняюсь... штаники сзади... не то чтобы это самое, а вроде как бы...

Товарищ Стерлигов только почесал шубу на лице:

– Ладно, до завтра доживут! А завтра, должно быть, служащим прозодежду выдавать будут – из центра бумага пришла. Только это я вам по секрету...

Когда с тремя ершами дьякон возвращался домой, он по дороге, конечно, стукнул в окно телеграфисту Алешке и сказал ему – конечно, по секрету. А телеграфист Алешка, как вам известно, поэт, он написал уже восемь фунтов стихов – вон там, в сундуке лежат. Как поэт, он не счел себя вправе хранить тайну в душе: призвание поэта – открывать душу настежь для всех. И к утру все от восемнадцати до пятидесяти лет знали о прозодежде.

Но никто не знал, что такое прозодежда. Всем ясно было одно: прозодежда есть нечто, ведущее свою родословную от фигового листа, т. е. нечто, прикрывающее наготу Адамов и украшающее наготу Ев. А общая площадь наготы тогда была значительно больше площади фиговых листьев – настолько, что, например, телеграфист Алешка давно уже ходил на службу в кальсонах,

посредством олифы, сажи и сурика превращенных в серые, с красной полоской, непромокаемые брюки.

Естественно поэтому, что для Алешки прозодежда воплощалась в брючный образ, но она же для красавицы Марфы расцветала в майскую розовую шляпу, для бывшего дьякона уплотнялась в сапоги – и так далее. Словом, прозодежда – это явно нечто, подобное протоплазме, первичной материи, из которой выросло все: и баобабы, и агнцы, и тигры, и шляпы, и эсеры, и сапоги, и пролетарии, и нераскаянные буржуи, раскаявшийся дьякон Индикоплев.

Если вы рискнете сейчас вместе со мной нырнуть в пыльные облака на улице Люксембург, то сквозь чох и кашель вы явственно услышите то же самое, что слышу я: «Дьякон... С дьяконом... Где дьякон? Не видали дьякона?» Только один дьякон, как опытный рыболов, мог вытащить этот зацепивший всех крючок-икс с наживкой из прозодежды. Но дьякона здесь не было: дьякона надо было искать сейчас не в красной линии спектра, а в сиреневой, майской, любовной. Эта линия пролетает не по Розе Люксембург, а по Блинной.

В самом конце Блинной, возле выкрашенного нежнейшей сиренево-розовой краской дома, стоит раскаявшийся дьякон. Вот он постучал в калитку, – через минуту мы услышим во дворе розовый голос Марфы: «Кузьма Иваныч, это вы?» – калитка откроется. В ожидании дьякон разглядывает нарисованную на калитке физиономию с злодейскими усами и с подписью внизу: «Быть по сему». Неизвестно, что это значит, но дьякон тотчас вспоминает, что он – бритый: с тех пор как, раскаявшись, он снял усы и бороду – ему постоянно чудится, что он будто снял штаны, что нос торчит совершенно неприлично и его надо чем попало прикрыть, – это сущая мука!

Прикрывши нос ладонью, дьякон стучит еще раз, еще: никого. А между тем Марфа дома: калитка заперта изнутри. Значит – что же? – значит, она с кем-нибудь... Дьякон ставит внутри себя именно это, только что здесь изображенное графически многоточие и, ежеминутно спотыкаясь на него, идет к улице Розы Люксембург.

Через несколько минут на том же самом месте, возле нежнейшего розового дома, нам виден телеграфист и поэт Алешка. Он тоже стучит в калитку, созерцает усатую физиономию, ждет. Стоит спиной к нам: только темный затылок и уши, оттопыренные как-то очень удобно и гостеприимно – как ручки у самовара.

Вдруг весь Алешка становится ненужным гарниром к собственному правому уху: живет только ухо – глотает шепот, шорох, шаги во дворе. Поэту нужно все знать и все видеть: он метнулся к забору, ухватился за край, подпрыгнул, разорвал рукав – и там, во дворе, под сараем, на один миг увидел нечто.

Пожалуй, не стоит рвать рукава и лезть на забор за поэтом: все равно – раньше или позже мы узнаем, что там увидел Алешка. А пока об этом можно судить по его лицу: с разинутым ртом и круглыми глазами Алешка походил сейчас на тех беспощадно нанизанных на веревку ершей, которые вчера вечером болтались в дьяконовой руке перед окном Алешки. В ершовом виде Алешка простоял ровно столько, сколько ему потребовалось, чтобы к увиденному подобрать рифму (заметьте: рифмой оказалось слово «осечка»).

Затем он сорвался с веревочки, на которую нанизала его судьба, и помчался на Розу Люксембург.

Там сейчас подготавливалась катастрофа: столкновение в некоей человеческой точке двух враждующих линий спектра – красной и золотой, революционной и купольной.

Этой человеческой точкой был дьякон. Одет он был в бордовые штаны и толстовку, сшитые из праздничной рясы, – и виден был издали, как зарево или знамя. Чуть только он забагровел в облаках пыли – к нему, как к магниту, повернулась вся улица Розы Люксембург – к нему прилипли десятки вопросов, рук, глаз. Дьякон был на невидимом амвоне и с амвона раздавал каждому: «Да, прозодежда... Да-да, бумага из центра».

Но один из народа (бас) брякнул:

– Какая там бумага! Ври больше!

– То есть как это – «ври больше»?

– А так, очень просто.

– Не веришь? Ну, гляди – ну, вот те крест святой, ну? – и, чтобы удержаться наверху, на амвоне, раскаявшийся дьякон, забыв о раскаянии, действительно перекрестился. Затем вдруг побагровел – рефлекс другой линии спектра – и (невидимо) грохнул вниз.

Катастрофа была вызвана тем, что из соседнего облака пыли в упор на дьякона глядела «козья ножка», вправлен-ная в меховое лицо: Стерлигов из УИКа. И конечно, он видел, как дьякон перекрестился.

Дьякон мучительно почувствовал свой голый нос, прикрыл его рукой, другую прижал к сердцу.

– Товарищ Стерлигов... Товарищ Стерлигов, простите ради Христа... – и, побагровев еще пуще, замер.

Стерлигов вынул изо рта сигарку, хотел что-то сказать, но ничего не сказал – и это было еще страшнее: только молча поглядел на дьякона и пошел. Дьякон, как лунатик, все еще прижимая руку к сердцу, за ним.

Еще пять – десять строк – и, глядишь, дьякон придумал бы, что сказать, и был бы спасен, но как раз тут из-за угла вывернулся Алешка. Он подскочил к Стерлигову и вместо того слова, какое было нужно, выпалил рифму:

– Осечка! То есть я... я хочу с вами...

И замолчал, оглядываясь, переминаясь с ноги на ногу, – непромокаемые брюки его чуть погромыхивали, как бычьи пузыри, на каких ребята учатся плавать. Стерлигов сердито выплюнул сигарку.

– Ну? По какому делу?

– По... по секретному, – шепнул Алешка.

В пыльных волнах кругом плавали десятки ушей – шепот услышали, и он побежал дальше, как огонек по пороховой нитке. Секретное Алешкино дело, неведомая прозодежда, катастрофа с дьяконом – это было уже слишком много, в воздухе носились тысячи вольт, нужен был разряд.

И разряд совершился: хлынул дождь. Все от восемнадцати до пятидесяти спасались в подъезды, в подворотни и оттуда глядели на шуршащий, сплошной стеклярусный занавес. Ничего-о, пусть льет – дождь этот одинаково нужен как для хлебов республики, так и для последующих событий рассказа: в сумерках по следам на влажной земле преследователям будет легче искать некоего убегающего от них икса.

Все, кто видел дьякона хоть бы вот сейчас, на улице Розы Люксембург, – знают, что это мужчина здоровенный. Так что, может быть, я рискую неприятностью при случайной встрече с ним в другом рассказе или повести – но тем не менее я считаю своим долгом разоблачить его здесь до конца.

Раскаившись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал буллу к прежней своей пастве в «Известиях» УИКа. Набранная жирным цицеро булла была расклеена на заборах – и из нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослушал лекцию заезжего москвича о марксизме. Правда, лекция и вообще произвела большое впечатление – настолько, что следующий клубный доклад, астрономический, был анонсирован так: «Планета Маркс и ее обитатели». Но мне доподлинно известно: то, что в дьяконе произвело переворот и заставило раскаяться, – был не марксизм, а марфизм.

Родоначальница этого внеклассового учения, до сих пор только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним утром спускалась к реке – искупаться. Разделась, повесила на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы правой ноги – какова сегодня вода? – плеснула раз, другой. На сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаившийся) голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставленный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон услышал плеск: «Эх, должно быть, крупная играет!» – взглянул... и погиб.

Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу кругом головы – волосы спелые, богатые, русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон умел рисовать, как Кустодиев! – ее, на темной зелени листьев, поднявшую к голове руку, в зубах – шпилька, зубы – сахарные, голубовато-бледные, на черном шнурочке – зеленый эмалевый крестик между грудей...

Тотчас же встать и уйти дьякон не мог – по случаю своей наготы; одеваться – белье было одна срамота. Поневоле пришлось вытерпеть все до конца – пока Марфа наплавалась, вышла из воды (одно это: как скатывались капельки с кончиков!), оделась – не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно дня стал убежденным марфистом.

В сущности, к Евангелию марфизм был гораздо ближе, чем к марксизму. Так, например, несомненно, что основной заповедью Марфа считала: «Возлюби ближнего своего». Для ближнего – она всегда готова была, по Евангелию,

снять с себя последнюю рубашку. «Ах ты бедняжка мой, ну что ж мне с тобой делать? Ну, поди, миленький, ко мне – ну поди!» – это она говорила эсеру Перепечко («бедненький, в тюрьме сидел!»), говорила Хаскину из ячейки («бедненький – шейка прямо как у цыпленка!»), говорила телеграфисту Алешке («бедненький, все сидит – пишет!»), говорила...

Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие капитализма – собственнический инстинкт. И дьякон сказал:

– А я желаю, чтоб ты была моя – и больше никому! Если я тебя... ну вот как... ну не знаю как... – понимаешь?

– Ах ты бедненький мой! Да понимаю же, понима-аю! А только что же мне с ними делать, когда они Христом-богом просят? Ведь не каменная я, жалко!

Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у Марфы в саду. Где-то нежно татакал пулемет, призывая самку. За стеною в сарае горько вздыхала корова – и в саду еще горше вздыхал дьякон. Так бы и шло, если бы судьба не пустила в ход красного цвета, каким окрашиваются все перевероты в истории.

Как-то раз вместо хлеба гражданам выдали по бидону разведенного на олифе сурика. Весь день дьякон громыхал босыми ногами по железу – красил в медный цвет крышу. А когда стемнело, дьяконица (соседи ей уж давно шептали про дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руках у ней был узелок, а в узелке – нечто круглое: может быть – бомба, может быть – отрубленная голова, а может быть – горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) – и вернулась домой. Затем – как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала корова, на лавочке в саду – дьякон. Он вздохнул раз, другой – выругался:

– Фу-ты, ч-черт! И тут краской воняет – никуда от нее не уйдешь, нынче за день весь насквозь пропитался!

Но, к счастью, у Марфы на груди была приколотая веточка сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка на нежнейшем базисе – согласно учению марфизма? Если знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо всем на свете.

Неудивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обедне. Скорей одеваться – схватил штаны... Владычица! – не штаны, а прямо следы преступления: все вымазано красным. И у серого подрясника – все сиденье красное и все полы красные... Лавочка-то вчера в саду была выкрашена – то-то оно и пахло!

Дьякон кинулся к шкафу – надеть другие брюки, которые не представляли собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.

– Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! – кричала дьяконица. – Иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Не-ет, не дам, иди!

Так и пошел – как некогда пророк Елисей – со стадом гогочущих мальчишек сзади.

Никому и никогда еще не удавалось изобразить по-настоящему самум, землетрясение, роды, катценяммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания революции, и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.

На другой день дьякон отнес к портному праздничную рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе – сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, на Марфе.

– Ах ты бедненький! Ну, поди, поди ко мне... Да что это у тебя глаза такие чудные?

– Что – глаза! Тут мозги наперекося пойдут – от всего этого...

Мозги у дьякона шли наперекося: как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты – теперь из Маркса – и каждый вечер ходил на занятия в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИКа – неужели этого мало?

Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена – две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный магазин Перельгина (входы, конечно, забиты досками: год – 1919-й). Действие разворачивается одновременно на обеих площадках: справа – Стерлигов и телеграфист Алешка, слева – марфист-дьякон и Марфа.

Алешка бледен, как Пьеро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом (публике это видно) произносит наконец какое-то слово – у Стерлигова сигарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера. Затем подымает обе руки к Алешкиной голове – как будто чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова остается на плечах, но, несомненно, Стерлигов говорит что-то вроде: «Ну, если врешь – голову с плеч долой!» И оба действующих лица сходят со сцены, вернее, сбегают: Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.

На левой площадке – явно любовный диалог. Дьякон начинает его скупой, без жестов – и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, как будто там зашита кошка: это – свирепо стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: «Ты мне почему сегодня утром калитку не открыла? Кто у тебя был? Нет, говори – кто? Слышишь?» Марфа подымает брови, вытягивает губы – так же, как когда говорят ребенку

«агу-агунюшки». Это на дьякона уже не действует – мозги у него явно пошли наперекося, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, – видно, как он говорит только (текст приблизительный): «Ну, ладно, – погоди!» – и уходит с твердым решением (кулак в кармане каменеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.

Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится – дождь припустил сильнее, и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить, – как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.

Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил Алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом – бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком – барышня, из породы секретарш (особый вид болонок).

У Стерлигова сквозь меха на лице – или от волнения – голос глухой:

– Папалаги у себя?

Болонка юркнула в кабинет, выскочила обратно, помахала Стерлигову хвостиком:

– Пожалуйте.

И через секунду телеграфист Алешка уже стоял перед самим товарищем Папалаги. На столе возле него – тарелка с самой обыкновенной пшенной кашей, и удивительно, что он ее ест самым обыкновенным способом, как все. Но усы у Папалаги – громадные, черные, острые, греческие – или еще какие усы...

– Ну, гражданин... как вас? ага! – рассказывайте. Ну?

Колени у Алешки так тряслись, что он сам слышал, как шуршат, вроде пузырей, непромокаемые брюки. Заикаясь с точками и точками с запятой после каждого слова, Алешка доложил, что нынче утром во дворе у гражданки Марфы Ижболдиной он видел эсера Перепечко, который эсер явно ночевал на сеннике в сарае.

– Тем лучше: сам к нам на рога лезет (действительно: острые усы были как рога). Тем лучше, тем лучше... – Папалаги нажал звонок, в дверях – желатинное лицо. – Вот что – сегодня вечером на Блинной улице... Впрочем – потом. Пока идите. Вы тоже можете идти (это уже Алешке, и Алешка непромокаемо шуршит из кабинета).

Тишина. Пшенная каша. Рога нацелены на Стерлигова.

– Черт возьми! – понимаете: сотрудники заявляют, чтоб им выдали прозодежду... И дернуло же их там, в Москве, придумать! Слушайте, Стерлигов: у вас там в магазинах ничего не осталось, чтобы реквизировать и раздать им?

Стерлигов роется в своих мехах, уставившись в пшенную кашу.

- Гм... Разве только у Перелыгина еще кой-что...

- Ну, у Перелыгина так у Перелыгина. Только скорей распорядитесь, чтоб привезли сюда. Момент такой, что, понимаете... Этот сукин сын Перепечко...

Каша. Тишина. Шелк дождя за открытым окном. Запах сирени, проникающий даже сюда без всяких пропусков. В ложах подворотен на улице Розы Люксембург публика все еще ждет хоть коротенького сухого антракта.

Но вместо антракта - представление неожиданно возобновляется: на одну из сценических площадок входят трое милиционеров (статисты без слов) и человек в белой мохнатой куртке, сшитой из купальной простыни. В ложах его тотчас узнали и шепотом заволновались:

- Сюсин! Сюсин из Упродкома! Сюсин!

Слабое мание руки великого Сюсина, треск отдираемых от дверей досок - милиционеры уже волокут из магазина какие-то картонки и валят их на бывшую городского головы линейку.

Дождь сразу перестал - как перестает реветь капризный мальчишка, заметив, что на него уже не смотрят. Под солнцем блестела на линейке черная, еще мокрая клеенка. С крыш что-то кричали народу воробьи. Народ от восемнадцати до пятидесяти кричал на сцену:

- Эй, товарищи! Чего это у вас там?

Милиционеры, которым от автора не дано было слов, молчали. Сюсин выдержал паузу и вполборота бросил небрежно - как, закурив, бросают спичку:

- Прозодежда.

И от сюсинской спички тотчас же загорелась вся Роза Люксембург от восемнадцати до пятидесяти:

- Прозодежда? Куда? Кому? А-а, так, а нам - шиш? Граждане, трудящие, держи их! Граждане!

Сюсин вскочил на линейку, за ним милиционеры. Один из них стал нахлестывать лошадь так, как будто это был классовый враг, - пожалуй, даже без «как будто»: лошадь была купеческая. Сивый классовый враг пустился во всю прыть, унося тайну прозодежды.

Через полчаса в кабинете у Папалаги телефон звонил, что по случаю прозодежды - волнение. Всем от восемнадцати до пятидесяти по добавочному купону Б выдали спички - один коробок на троих. Народ от восемнадцати до пятидесяти зажужжал еще пуще - как пчелы, в воздухе ощущались рои событий, и пока еще неизвестно только, где они привьются, где повиснут спутанным, темным, крылатым клубком.



Раскаившийся дьякон Индикоплев снимал теперь комнату. Дом, дьяконицу, детей, деньги, диван – все прочные «д» дьякон оставил позади и жил теперь среди взвихренных «р»: фотографии Маркса и Марфы, кровать без простынь, брошюры, окурки. Когда в сумерках дьякон вернулся сюда и голый нос спрятал в грязную подушку – все эти «р» закружились, кровать колыхнулась и отчалила вместе с дьяконом от реальных берегов.

Тотчас же руки, ноги, пальцы – где-то за сто верст и в то же время вот тут, рядом: как на карте – кружки городов. Дьякон проскочил сквозь себя по некоей спирали и стал в уголку, откуда все было видно. И совершенно ясно было, что там, где голый, выбритый дьяконов нос – там Москва, уткнувшаяся в кислые перья подушки. Чтобы не задохнуться – надо поднять руку, выпростать Москву из перьев, но дом, дьяконица, дети, диван придавили – конец! Перекреститься бы – но нельзя: из уголка своего дьякон видит, что на нем не ряса, а бордовая толстовка, и на стене – меховой, похожий на Стерлигова Маркс...

От Стерлигова – как вязальной иглой кольнуло куда-то в живот, лежащий стоверстный дьякон и крошечный в уголку – соединились в одного, этот один вскочил, открыл окно. На кладбище звонили ко всенощной, за углом солдаты пели Интернационал – и невозможно, чтоб это все было вместе, надо было скорее распутать, скорее разыскать Стерлигова, объяснить ему, что, ей-богу же, – никакого бога нет, а есть... а есть... Что, ну – что есть, что?

Дьякон отчаянно махнул рукой и побежал в УИК. Там сказали, что Стерлигов, наверное, в клубе наверху. Дьякон полез наверх, открыл обитую драпой клеенкой дверь, вошел.

В огромной зале – за сто верст, на дне – мигала в дыму керосиновая лампочка. Старушонка за роялью играла миньон, в мешочных рубахах милиционеры пятились миньоном назад, натываясь с хохотом друг на друга. Шли занятия балетно-драматической студии для милиционеров, густо пахло санитарным вагоном.

Дьякон крикнул:

– Товарищ Стерлигов здесь?

Миньон затвердел, старушка вынула платок и не то сморкалась, не то плакала. Дьякон прикрыл голый нос ладонью и сказал, глядя в чьи-то отдельно повисшие в дыму, веселые зубы с сигаркой:

– Мне товарищу Стерлигову объяснить, что бога... Мне – по срочному делу: нельзя ли сейчас? – узнайте.

– Ладно... – и, пятясь миньоном, милиционер пропал в темном углу.

Короткая, в три восьмых, пауза, заполненная смесью колокола с Интернационалом (окно открыто). Когда три восьмых прошло, дьякон издали – за сто верст – услышал сквозь дым:

– Нельзя. Велел вас задержать. Сядьте пока тут.

Дьякон послушно сел. Старушка всхлипнула последний раз и заиграла, милиционеры, пяясь, поплыли в дыму. И только тогда, через версты, дошло до дьякона это слово – «задержать». Задержать! Пропал: сейчас придут с ружьями и уведут... По пути к пяткам душа остановилась в ногах, ноги стали самостоятельным, логически мыслящим существом, в секунду все решили, потихоньку подняли дьякона – и под музыку, пяясь как все, он пошел к двери. Тут набрал, сколько мог, санитарного воздуха – сломя голову вниз по ступеням, на улицу – и побежал.

Как в поезде: мимо – столбы телеграфа, черные квадраты окон, крошечные булабочные огоньки, самовар на столе. И вдруг где-то – косою, яркий свет, вырезанные из темноты головы, плечи, носы, толпа. Дальше было некуда, назад – нельзя. Дьякон втиснул себя в кирпичную веревку у каких-то ворот, зажмурил глаза, ждал: сейчас придут.

И действительно, кто-то подошел и крикнул над самым ухом у дьякона:

– Выдали!

Кто выдал – все равно: надо бежать. Дьякон рванулся, открыл глаза.

Перед ним был Алешка-телеграфист. Вытянув руки, в пригоршнях, крепко – как птичку, которая сейчас улетит, – он держал кусок черного хлеба.

– Выдали, – крикнул он, – заместо прозодежды! Я – последний получил, больше нету.

Длинно, как корова в сарае, дьякон выдохнул из себя все. И тотчас же понял, что хочется есть, с утра ничего не ел, дома в шкафу стоит каша, надо пойти домой! Но Алешка схватил за рукав:

– Гляди-гляди-гляди! Да гляди же!

В косом свете из окна – на ступенях стоял Сюзин в своей белой, мохнатой куртке и рядом с ним рябой Пузырев – тот самый, какой два года пропадал в немецком плену. Пузырев двумя пальцами, как в огурец вилкой, тыкал в Сюзина:

– Так ты говоришь – хлеба больше нету? А если так, то спрашивается: за что же я, например, пропал без вести? Граждане, бей его!

В белой косою полосе все накренилось. Сюзин упал, на него надели густым, шевелящимся роем, на секунду очень ясно – рука Сюзина с зажатым в ней ключом...

Здесь несколько вычеркнутых строк – или, может быть, дьякон действительно не помнил, как он очутился в своей комнате, инструментованной на «р», как ел холодную кашу. Поевши, хотел прикрыть кастрюлю брошюрой Троцкого, но раздумал: знал, что сюда уж никогда не вернется, потому что финал рассказа должен быть трагический. И, захватив для этого финала железный косырь, каким щепал для самовара лучину, дьякон вышел навстречу неизбежному.

Возле дома через забор свешивалась вниз сирень – сейчас она была черная, железная. Под сиренью на бревнах – тесно сидели двое, белел в темноте чулок и голое колено, звучно целовались. От этого в дьяконе сразу как бы повернулся выключатель и осветил комнату, где (внутри дьякона) с кем-то целовалась Марфа. Все остальное потухло, и дьякон помнил теперь только одно: скорее – туда, к Марфиному дому, чтобы подстеречь его.

Там, на Блинной, одно окошко было освещено, и на белой занавеске шевелилась тень – сейчас подняла к голове руки: должно быть, разделась и венком закладывает косу на голове – как тогда на реке. Дьякона обожгло, будто выпил рюмку чистого спирта. На цыпочках стал подбираться к самому окну, чтобы поднять занавеску, – но позади кто-то чихнул. Дьякон дрогнул, обернулся – и возле Марфиной калитки увидел его. Лица не разобрать – было видно только: поднят воротник и надвинута на глаза франтовская – белой тарелкой – шляпа-канотье.

В кармане – далеко, за сто верст – дьякон трясущимися пальцами нащупал косырь. Потом: нет, пусть он залезет в сад, пусть! И прошел мимо освещенного окошка, мимо разоренного перелыгинского дома. Тут поглядел назад: шляпа-канотье заворачивала за угол, где в переулочке была садовая калитка. Окошко у Марфы потухло: значит, она ждет...

Дьякон немного помедлил – как, крутятся, всегда медлят взорваться бомбы у Льва Толстого. Вытащил косырь, обтер его зачем-то полкой – и, перескочив через забор в сад, сквозь мокрую, хлещущую сирень, бомбой пролетел к скамейке, чтобы одним махом прикончить его и этот рассказ.

Мы уже давно обросли мозолями и не слышим, как убивают. Никто не слышал, как вскрикнул дьякон, замахнувшись косырем: все от восемнадцати до пятидесяти были заняты мирным революционным делом – готовили к ужину котлеты из селедок, рагу из селедок, сладкое из селедок. Где-то, с зажатым в руке ключом, лежал белый Сюсин. Из окна пахло сиренью. Товарищ Папалаги допрашивал пятерых, арестованных возле хлебной лавки, и справлялся по телефону, чем кончилось дело на Блинной.

Но на Блинной не кончилось, бомба продолжала крутиться еще бешеной: на скамейке дьякон никого не нашел – и, ободранный, мокрый, полыхающий, выскочил назад, на Блинную. На углу остановился, крутятся, и увидел: в лиловых майских чернилах белела – быстро плыла шляпа-канотье прямо на него.

Мгновенно погасла (в дьяконе) комната, посвященная марфизму, – вспыхнула другая, где был Маркс, Стерлигов и прочие грозные меховые люди. И меховой Стерлигов-Маркс послал канотье, чтобы задержать дьякона, – это теперь осветилось в темноте совершенно ясно. Бежать – куда глаза глядят!

Дьякон несся по Блинной – огромный – и видел свои размахивающие руки. Но это был не он: сам он – крошечный, с булавоочную головку, стоял посередине дороги и смотрел, как бежит этот другой. И вдруг кольнуло в живот от страха: заметил, что тот – огромный – дьякон бежит, пятясь миньоном, как тогда милиционеры... ну да: вот теперь пятится как раз мимо закопченных стен перелыгинского дома. Надо было остановиться, понять, что же это

такое, – дьякон нырнул в голую, без дверей, дыру в стене и, громко дыша, присел.

Густо пахло – как во всех пустых домах в тот год. Сверху в черный четырехугольник звезды равнодушно глядели вниз, на Россию, как иностранцы. Разом было слышно: частое дыхание, третий звон на кладбище, выстрелы. И конечно, немыслимо, чтобы один человек сразу же слышал все это, и видел звезды, и нюхал вонь. Стало быть, дьякон не один, а...

Плоские, плюхающие шаги за стеной. Медленно, сустав за суставом раздвигая себя, как складной аршин, дьякон приподнялся, выглянул через дыру в стене – и ахнул: этот в канотье – раздвоился и теперь уже двойной, в двух одинаковых канотье, присел на корточки и, зажигая спички, разглядывал дьяконовы следы на влажной земле. Больше терпеть было невозможно: дьякон закричал и, прыгая через какие-то балки, печи, кирпичи, кинулся сквозь перельгинский дом. Слышно было, как сзади падал и в два голоса материл он – споткнулся – отстал.

Пустыми переулками, набитыми черной ватой, дьякон добежал до кладбища – оно начиналось сразу же за Блинной. Там он забился у ограды, где кладбище спускалось в лог и где оптом закапывали умиравших в тот год. Соленые, едучие капли со лба лезли в глаза, – дьякон утерся и сел на плиту. Вылез красный запыхавшийся месяц, дьякон увидел мраморную дощечку с золотыми буквами: «Доктор И.И. Феноменов. Прием от 10 до 2». Раньше дощечка эта висела на дверях у доктора, а когда доктор переселился на кладбище – дощечку привинтили к плите. Дьякон хорошо понимал: с головой у него что-то неладное, надо бы поговорить с доктором – решил ждать, когда начнется прием у Феноменова.

Но дожидаться не пришлось: над оградой кладбища опять показался он, в белом канотье. И он размножился с ужасающей быстротой: он был уже не раздвоенный, а распятеренный – в пяти канотье. Дьякон понял, что это – конец, деваться некуда, и заорал: «Сдаюсь! Сдаюсь!»

Когда привели пойманного, Папалаги повернул зеленый абажур так, чтобы осветить его, и спросил:

– Фамилия?

– Индикоплев, – ответил дьякон.

– Ах, Ин-ди-ко-плев! Вот как! Происхождение, родители?

Где-то далеко, за сто верст – дьякон знал: нельзя, чтобы родитель был протопоп. Дьякон прикрыл ладонью голый нос и сквозь ладонь неуверенно сказал:

– Родителей не... не было.

Папалаги – как рога – наставил на него страшные чер-вые усы:

– Довольно дурака валять! Сознавайтесь!

Дьякона проколело. Значит, уже все известно – тогда все равно.

– Я сознаюсь, – сказал он. – Я перекрестился. Хотя я и отрекся, но перекрестился публично, я сознаюсь.

Папалаги обернулся и кому-то в угол:

– Что он – сумасшедшего разыграть хочет? Ладно, пусть попробует! – Папалаги нажал кнопку.

И тогда вошел он – неясное, желатинное лицо, поднятый воротник, канотье. Дьякон побелел и забормотал, пятась:

– Он самый.. пять шляп – эти самые.. Пожалуйста, не надо. Ради Христа.. то есть – нет, не ради!

Папалаги поглядел на шляпу, сердито зашевелил усами. Потом показал на пойманного эсера, который притворялся сумасшедшим:

– Увести его в десятый – и сами ко мне сейчас же!

Когда дьякона увели и затем в кабинете выстроились все пятеро во франтовских канотье – Папалаги закричал:

– Что это за маскарад такой, что за шляпы, что за чепуха? Кто это выдумал?

Один, который стоял ближе, вынул руки из карманов, снял канотье, повертел в руках:

– Это, видите ли, товарищ Папалаги.. это, согласно приказу, прозодежда, которую нам, значит, выдали для ношения.

– Сейчас чтобы снять! Ну, слышали?

И пять прозодежд стопкой покорно легли на письменный стол.

Так кончился миф с прозодеждой. Очевидно, кончился и рассказ, потому что не осталось больше никаких иксов и, кроме того, порок уже наказан. Нравоучение же (всякий рассказ должен быть нравоучителен) совершенно ясно: не следует доверять служителям культа, даже когда они якобы раскаиваются.

1926 год